

ОГОНЕК

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 32 (280). 5 августа 1928 г.

НОВЫЙ ОБРАЗ ЧЕХОВА

Очерк Юрия Соболева.

Уже давно отзывались однообразные жалобы тех „пытников“ и „пыжиков“, которых с такой беспощадной обаятельностью рисовал Чехов. Иные, насыщенные молодой бодростью песни несутся с тех лесов, которые окружают гигантскую стройку нашей страны.

Но отодвинув в прошлое, сделав документом для социолога и психолога „чеховщину“, мы за эти годы раскрыли неожиданно новый образ самого Чехова. Оказалось, что Чехову нашлось значительное место в той современности, которая малейшей своей чертой во всем противоположна чеховскому времени. Об этом очень хорошо сказал А. В. Луначарский в статье своей „Чем может быть А. П. Чехов для нас“: „Мы живем среди порядочной мещанской духоты, она душит нас и в деревне, и в провинции, и даже в столице. Она держит в своих когтях обывателя, она прочно вцепилась еще и в рабочего, и под его злым крылом ютится елишком часто личная семейная жизнь даже революционеров. Чехов работал и умер в иной обстановке, тем не менее он часто попадал в головы гидр, осаждающих еще и нас“.

Думается, что вообще пришла пора заняться основательным пересмотром того богатого литературного наследия, которое оставил Чехов, при чем эта „ревизия“ должна была бы пройти не только через творчество писателя, но и коснуться той литературы—критической и мемуарной, которая наслонилась на Чехове за 25 лет.

„Многочисленные материалы, проливающие свет на сокровенные стимулы литературного творчества, разбросаны и малодоступны обозрению. Собранные вместе и систематизированные, они приобретают исключительный интерес и в своих сочетаниях дают подчас неожиданный эффект“. Нельзя более метко определить смысл появления той серии сборников, посвященных литературному быту и творчеству русских писателей, первый выпуск которых отдал А. П. Чехову¹. Его составитель—Вал. Фейдер, пересмотревший груды материалов и не оставивший без внимания, кажется, ни одной строчки писаний как Чехова, так и о Чехове, и достигнувший предельной объективности в разрешении своей задачи представить „Чехова за работой“,—составил книгу, которая, действительно, дала неожиданный эффект.

Эффект этот выражается именно в том, на что мы уже указали—в очевидном теперь контрасте между Чеховым и „чеховщиной“. А ведь составитель не задавался целью осветить творчество писателя, исходя из тенденции провозвести здесь некую ревизию. Нет, он взял беспристрастные документы, сделал из них соответствующие выборки, не внося в свою работу ни на минуту личной точки зрения. Документы нарисовали портрет Чехова во весь рост. Портрет ожил и засверкал теми яркими красками, которых так не хватало ни одному из прежних изображений писателя.

Мы помним, например, работу Бразы—работу, которую сам Чехов не терпел, справедливо считая, что выражение, приданное ему художником, выражение „маринованного судачка“, как саркастически ото-

звался Антон Павлович, отнюдь ему не свойственно!

Новый Чехов вскрыт и как писатель, и как общественный работник. Писательский путь Чехова вряд ли кому теперь до конца известен. Мы так привыкли смотреть на Чехова, как на классика, что уже давно позабыли ту истинно героическую борьбу, которую Чехов выдержал как писатель, как основоположник новой формы.

Корить Чехова за работу в „мелкой прессе“ было признаком хорошего критического тона, но сухие ригористы, в том числе даже Н. К. Михайловский, не понимали, как нужна была газета молодому Чехову и как полезно ему было участие в „Осколках“ или „Будильнике“. Эта „мел-

следовало бы задуматься и нашим современникам. Сам Чехов не скрывал одной заслуги, которую он за собой числил: „Я счастлив,—говорил он,—что указал многим путь к толстым журналам. Все мною написанное забудется через пять—десять лет; но пути, мною проложенные, будут целы и повредимы—в этом моя единственная заслуга“.

Теперь, когда мы будем делать привычную оценку Чехову, как классику—не забудем о том огромном творческом труде, который был вложен „Антошей Чехонте“, завоевавшим новую форму—форму маленького рассказа! Новелла—жанр, в русской литературе созданный, конечно, Чеховым.

Это творческий путь. Посмотрим, как складывался жизненный. В суждениях о Чехове крепко держится точка зрения на него, как на писателя, почти бездейственного в общественном смысле. Это привычное суждение переносится и на чеховское мироощущение. Чехов считается пессимистом. Но вот если добросовестно пересмотреть груды тех материалов о Чехове, которые в стройном хронологическом порядке расположены в книге Вал. Фейдера, то станет совершенно очевидной тенденциозность оценок Чехова, как „пытика“, к тому же „вовсе не склонного ни к какой общечеловечности“.

Подобно тому длительному и упорному труду, через который прошел Чехов—завоеватель новой литературной формы, был мучителем и сложен процесс интеллектуальной закалки, им испытанный. „Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупали ценою молодости“,—говорил о себе разночинец Чехов и предлагал А. С. Суворину написать рассказ о том, „как молодой человек, сын крепостного, бывший заводчик, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чиновничьи, деловании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без галоса, дравшийся, мучавший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества,—напишете, как этот молодой человек выдвигает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая“.

Это вполне автобиографическое признание: в нем этапы биографии Чехова, начиная с детских лет и кончая днями раннего писательства. Но вот рабская кровь выдвинута по каплям, и Чехов откровенно исповедует свое мирозерцание. Оскарив толстовскую мораль опрощения, он в письме к А. С. Суворину говорит: „Во мне течет мужицкая кровь, меня не удивили мужицкими добродетелями. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие. А к тому, что люди ковыряли мозоли, и что их портняжки издавали удивительный запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни во утрам ходят в панталонах... Расчетливость и справедливость говорят мне, что в элэстичестве и в паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в поздержании от мяса“.



А. П. Чехов в 1880 г.

кая пресса“—она-то и приучила его писать коротко, сжато, здесь-то он и вырабатывал приемы новеллы. Даже срочность работы, на которую и сам Чехов часто сетовал в письмах—даже и это писание по заказу отнюдь не принесло ему вреда.

Он не делал различия между толстым журналом и тощим еженедельником. „Не все ли равно, поет ли соловей на большом дереве, или на кусте, — говорил Чехов в письме к Я. П. Полонскому.—Требование, чтобы талантливые люди работали только в толстых журналах, желчно понахивает чиновником и вредно, как все предрассудки. Этот предрассудок глуп и смел. Когда я напишу большую-большую вещь, пошлю в толстый журнал, а маленькие буду печатать там, куда занесет ветер и моя свобода“. И Чехов был прав, утверждая, что у него шире, чем, напр., у Короленки, „поле брани и богаче выбор“.

Чеховская писательская учеба, чеховская газетная и мелкожурнальная школа—поучительны. Здесь есть многое, над чем

¹ Выходит на-днях в издании „Academia“.

Но еще за несколько лет до этих признаний Чехов так же откровенно высказывался о самых своих сокровенных взглядах: „Я люблю природу и литературу, люблю красивых женщин и ненавижу рутину и деспотизм“. А когда его собеседник Ив. Щеглов, услышав слово „деспотизм“, спросил, не идет ли речь о „политическом деспотизме“, Чехов ответил: „Всякий... Где бы и в чем бы он ни выражался, все одно — в министерстве внутренних дел или в редакции „Русской Мысли“.

Пессимизм Чехова!... Откуда сложилась эта легенда? Вот мы просматриваем этап за этапом жизненный путь Чехова, от одной вехи его биографии переходим к другой: Москва—эпоха „Антоши Чехонте“; показания всех современников, приятелей и друзей его молодости; наконец, собственные признания в письмах,— все единодушно твердит о том, что Чехов весел, всегда жизнерадостен, смеется сам и смешит окружающих.

Бабкино, Звенигород, Воскресенск—нигде и ни разу не появляется в этих местах Чехов разочарованным, унылым и поющим. Ему весело, ему хорошо работается. Даже такой наблюдательный мемуарист, как Короленко, который, конечно, не преминул бы отметить в образе Чехова черты уныния и пессимизма,—и тот утверждает, что Чехов произвел на него „впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья“.

Когда печален и мрачен Чехов? Только во время приступов болезни. Да, он сравнительно много болеет. Его мучит геморрой; что-то не ладится в кишечнике; затем, приступы кровохарканья и ранний туберкулез. Навивно было бы думать, что и во время приступов недомоганий Чехов мог веселиться. Но и недомогая и даже тяжело болея, Чехов сохраняет все тот же вкус к жизни. И вконец измотанный недугом он и тогда не переставал возмущаться тем, что о нем писали, как о „нытике“. „Как-то я „нытик“? Какой я „хмурый человек“? Какал я „холодная кровь“, как называют меня критики,—воскликнул Антон Павлович.—Какой я „пессимист“? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ „Студент“. И слово-то противное—„пессимист“.

„Он без страха смотрел на будущее“,—вспоминал Максим Ковалевский. Он без страха, мужественно встретил и послед-

ний свой час. „Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел, как-то значительно громко сказал доктору по-немецки: „Ich sterbe“, потом взял бокал, повернул ко мне лицо,—вспоминает О. Л. Книппер, улыбуясь своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского“. Покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда.

Общественный индифферентизм Чехова? Какой вздор! Писатель, который не покладая рук работал на медицинской практике в Звенигороде; безвозмездно служил санитарным врачом в дни холерной эпидемии в Мелихове; писатель, по собственной инициативе, в годину страшного голода организовавший помощь „безлошадным мужикам“; писатель, выстроивший три образцовых школы; писатель, принимавший самое активное участие во всех литературных организациях своего времени; писа-

тель, открыто выражавший свое сочувствие Зола и Дрейфусу, писатель, поставивший себе целью доказать русскому обществу бессмысленность и гнетущую жестокость каторги и изучивший для этого с добросовестностью ученого Сахалин; писатель, активно выразивший протест против изгнания Горького из Академии; писатель, с величайшим энтузиазмом говоривший о первых проблесках русской „весны“,—такой писатель не может быть причислен к „общественно-индифферентным“. И легенду о чеховском „равнодушии“ самым убедительным образом развенчивает все тот же беспристрастный, идеально объективный сборник документов, собранный в этой книге, дающей, действительно, неожиданный эффект.

Эффект познания нового Чехова.

Юр. Соболев.